

Мы простимся на мосту

Автор:

[Ирина Муравьева](#)

Мы простимся на мосту

Ирина Лазаревна Муравьева

Семейная сага #3

К третьей части семейной саги Ирины Муравьевой «Мы простимся на мосту» как нельзя лучше подошли бы ахматовские строки: «Нам, исступленным, горьким и надменным, не смеющим глаза поднять с земли, запела птица голосом блаженным о том, как мы друг друга берегли». Те герои, чьи жизни переплелись внутри этого романа, и есть «исступленные, горькие и надменные люди», с которыми наступившее время (1920-е годы!) играет в самые страшные и самые азартные игры. Цель этих игр: выстудить из души ее светоносную основу, заставить человека доносить, предавать, лгать, спиваться. Мистик и оккультист Барченко, вернувшись в Москву с Кольского полуострова, пытается выжить сам и спасти от гибели Дину, которая уже попала в руки Лубянки, подписав страшную бумагу о секретном сотрудничестве с ЧК...

Ирина Муравьева

Мы простимся на мосту

Михаил Эпштейн

ВЛАСТЬ ДУШИ, ИЛИ ПОХВАЛА СЕНТИМЕНТАЛИЗМУ

О прозе Ирины Муравьевой

Что такое душа и на чем держится ее власть над нами, никто в точности не знает. Иные знатоки, выступая от имени точных наук, даже утверждают, что душа – это миф, что поведением людей правят гены и гормоны, а их химические реакции воспринимаются нами изнутри как душа. Но не вернее ли наоборот: наши душевные движения воспринимаются извне приборами как реакции молекул или электрические разряды нейронов в мозге? Но мы-то сами не приборы, мы находимся не там, где нас извне наблюдают, а там, где эти внутренние движения зарождаются и происходят. А значит, от себя, от своей души нам все равно никуда не деться.

Об этой неотменимой реальности души напоминает нам литература, которую принято снисходительно называть «сентиментальной». Когда-то, в XVIII столетии, сентиментализм был свежим и обновляющим движением – художественным авангардом эпохи Просвещения. Томас Грей, Сэмюэл Ричардсон, Лоренс Стерн, Жан-Жак Руссо, Николай Карамзин... Прочь от рационалистических условностей классицизма, от всех этих нравоучительных схем, иерархии жанров – к излипаниям человеческой души! Сентиментализм открыл уникальность личности, не подвластной никаким моральным шаблонам и гражданским нормам. Из сентиментализма родился романтизм, расширивший душевное до духовного, до представления об исключительной, мирообъемлющей личности.

Но дальше, за чередованием разных школ и направлений, от реализма до модернизма и постмодернизма, сентиментализм был забыт, точнее, отошел в область уже не столько индивидуального, сколько стереотипного. Вся литература от середины XIX до конца XX в. стеснялась прямого обращения к чувствам, поскольку и научное мировоззрение, и социальные идеологии учили обратному: чувства предопределены либо биологически, либо социально, в них нужно видеть выражение либо классовых, либо половых инстинктов. И вообще задача художника – дистанцироваться от всех первичных, «голых» эмоций, перекрывать их иронией, метафорами, языковой игрой. Даже поэзия, как говорил Т. Элиот, – это «не свободный выход эмоции, а бегство от эмоции; не выражение личности, а бегство от личности». Этот постулат, усвоенный модернизмом середины XX в., был передан по наследству постмодернизму конца XX в., и скептическое отношение к экспрессивно-эмоциональному в тексте – то

немногое, что их объединяло.

Между тем эмоции, конечно, никуда не ушли, но они оттеснялись на периферию большой литературы, в отдельный жанровый пласт беллетристики – «сентиментальный». Наиболее успешно освоила этот жанр и добилась его массовой популярности прекрасная и чувствительная половина человечества. Даниэла Стил, Барбара Картленд, в России – Галина Щербакова, Татьяна Устинова... Здесь чувства не только царили, но и порой эксплуатировались вовсю, с нажимом и хрустом, превращаясь в «чуйства», в преувеличенные пародии на самих себя. И легко было бы насмешничать над этими стереотипами страстей, нежностей, вздыханий, розовых соплей в голубом сиропе, если бы сами насмешки такого рода не были еще более стереотипны.

Более того, в эпоху ускоренной технизации и информатизации общества сентиментальная литература приобретает важную антропологическую миссию, рассказывая о неистребимости эмоционального в человеческой натуре. Главное стремление сентиментальной литературы, которое на наших глазах становится все более благородным и одухотворенным, – это выявить в человеке самое человеческое, несводимое к информационным, генетическим, медицинским и прочим технологиям. Можно ли строить цивилизацию будущего на основе только интеллекта, придавая ему техническую мощь, совершенствуя до компьютерной точности и попутно освобождая от эмоциональных слабостей?

По сути, сентиментальная литература возвращается к той бунтарской роли, какую играл сентиментализм в XVIII веке по отношению к господствующему классицизму с его культом рассудка, схематизмом правил и приматом искусственного над естественным. Рационализм нашего времени отчасти наследует классицизму, правда, опираясь уже не на образцы античной классики, а на проекции компьютерного будущего. Но и в том, и в другом случае функция сентиментализма – вызов технологическому подходу к человеку, восстановление дикого, непреодолимо чувствительного и чувственного в его природе. Тем самым современный сентиментализм возвращается в русло «большой литературы», поскольку связан с основными проблемами века, с выбором ориентации для будущего человечества.

Разумеется, значительная часть сентиментальной словесности остается развлекательным чтивом для чувствительных девиц и домохозяек. Но такое расслоение на разные эстетические уровни происходило и с другими направлениями литературы, включая романтизм и реализм, у которых были свои вульгарно-массовые разновидности. Важно то, что сентиментализм сегодня заново приобретает черты цельного и последовательного мировоззрения, а тем самым и открывает для себя выход в большое литературное пространство. В этом смысле проза Ирины Муравьевой – характерно пограничное явление, точнее, знак преодоления границы между сентиментальностью как жанром массовой литературы и сентиментализмом как способом жизнепонимания и жизнотворения.

Можно выделить три исторических периода, когда сентиментализм был призван к служению Литературе с большой буквы. Первый – это, конечно, Н. Карамзин и его школа, бросившая вызов классицизму XVIII в. и затем сдавшая его в архив, а также сформировавшая новый русский язык (честь, которая незаслуженно приписывается одному Пушкину). Вторая волна сентиментализма – это 1840—1850-е гг., раннее творчество Ф. Достоевского («Бедные люди») и Л. Толстого («Детство. Отрочество. Юность»). Этот сентиментализм отталкивался от того просветительского рационализма, который выразился в деятельности В. Белинского и сформированной им «натуральной школы».

Третья волна сентиментализма пришлась уже на советское время и достигла пика в 1950—1960-е гг., как результат разочарования в коммунистической догматике и проекте рационально-революционного переустройства общества. В официальной эстетике нового строя господствовал социалистический реализм, который в силу его нормативности, идеальности, героичности было бы правильнее, по верному замечанию А. Синявского, назвать социалистическим классицизмом. Как антитеза этой суровой догматике со временем выдвинулось течение «социалистического сентиментализма», с его мягким, добрым взглядом на человека и его место в природе. Социалистический сентиментализм лиричен и пейзажен, от злобы дня и жестокости классовых битв он обращается к детски-наивному и старчески-мудрому взгляду на гармонию человека с самим собой и с природой. Предтечей этого направления может считаться М. Пришвин, а главным достижением – роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». Если рассматривать его как произведение сентиментализма, то сразу отпадут многие

эстетические претензии к нему, которые исходят из того, что этот роман обязан следовать логике реализма. Живаго – типичный сентиментальный герой, живущий в мире природы, любви и поэзии, которые защищают его – увы, не слишком надежно – от социально-политических реальностей революционного времени. В 1950—1960-е гг. эта сентиментальная линия была продолжена в поэзии Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, Б. Ахмадулиной, Н. Матвеевой.

Евтушенковское «людей неинтересных в мире нет» стало своеобразным отзывом на карамзинское «и крестьянки чувствовать умеют». И в поэзии, и в прозе – В. Панова, И. Грекова, В. Солоухин – отвергался героический канон соцреализма и утверждалась поэтика чувствительности, мечтательности, уязвимости человеческого сердца.

И вот в последние лет 10–15 поднялась четвертая сентиментальная волна, уже постсоветская. Она возникла благодаря разочарованию в очередном рациональном проекте: переустройстве российской жизни на началах капиталистического разума и свободной трудовой этики. Особенность этой четвертой волны – то, что она представлена в основном женщинами как хранительницами и воспитательницами чувств. Мужчины дезертировали в постмодернизм, концептуализм, социальный реализм, фантастику, публицистику, биографический жанр... На знаменах сентиментализма остались только женские имена. Л. Улицкая, Т. Толстая, М. Вишневецкая, Д. Рубина, В. Токарева...

Среди них Ирина Муравьева занимает особое место.

Я бы назвал ее прозу пронзительно сентиментальной, в том смысле, что мир чувств не отделен от мира вещей, но пронизывает собой историю, всю предметную и социальную реальность. И сами чувства достигают такой пронзительности, что истощают, опустошают, выжигают души тех персонажей, которых автор проводит через это испытание.

Проза Муравьевой всегда захватывает так, как будто налетает ветер и несет читателя с первой страницы до последней, не позволяя перевести дыхания. Муравьеву не так легко цитировать, поскольку вся сила ее прозы – в сцепке деталей, в переключке лейтмотивов. Но вот один из фрагментов, который можно

считать исповеданием ее художественной веры. Говорят муж и жена Веденяпины, до полусмерти истерзавшие друг друга любовью, ненавистью, отчаянием, всей этой каруселью чувств, как будто еще не отделившихся друг от друга и предстающих – как часто у Муравьевой – в своей саморазрушительной амбивалентности. Но это не только их чувства, это состояние терзающей себя страны – события разворачиваются в 1917 г. (роман «Холод черемухи»): «Это только кажется, что мы с тобой и эти выстрелы, и всё, что сейчас там, в городе, – она показала подбородком на темноту за окном, – что это совсем никакого отношения одно к другому не имеет. А я, Саша, знаю, что все это – одно и то же, все одно: и мы с тобой, и наш сын, и ложь, и скандалы, и не только у нас с тобой, у всех почти так, поэтому и кровь полилась! Отворили ее! – Нина всплеснула руками, и он содрогнулся: вспомнил этот ее детский давнишний жест». Семейные скандалы достигают масштаба войн и революций, поскольку заводятся тем же самым нервическим повышением тона, истерическими нотками в голосе: влюбленных, супругов, властей, сословий, народов... История тоже вплетена в узор интимнейших чувств и отношений, которые экспрессивно настолько напряжены, что выходят за рамки интимности.

Достоевский изобразил непонятную для европейцев любовь русских к скандалам, когда все общественные условности вдруг мигом слетают с людей, закрученных вихрем какого-то нервического припадка откровенности: режь правду-матку – и пропади все пропадом. Вот скандал, закипая по семьям, чинам и сословиям, и громыхнул на все общество – революцией. Все летит вверх тормашками. Еще недавно приличные люди начинают выворачивать друг другу карманы, сначала исподтишка, а потом все более наглея в присутствии обкраденного, попутно объясняя ему, что сам он вор. И по мордасам, по мордасам. И визгливые возгласы: «мое!» – «не твое!» – «отдай!» – «не трожь!» – так называемая идеология. Ленин: «А вот сейчас как вдарю!» Либералы: «А ну-ка убери руки!» Монархисты: «Вязать его, сукиного сына!» Большевики: «Полегче, полегче, сейчас разберемся, товарищи». Народ: «А ну отойди от меня, я припадочный!» Революция – это и есть скандал, только не семейный, а всенародный.

Об этом – последняя трилогия Ирины Муравьевой, начатая романом «Барышня» и продолженная романом «Холод черемухи» (скоро выходит в свет и завершающая часть трилогии «Мы простимся на мосту»). Это самое монументальное ее произведение – и вместе с тем первое на историческую тему: эпоха,

разломленная пополам революцией, 1910—1920-е гг. Угадываются мотивы и нотки «Доктора Живаго», «Хождения по мукам», «Белой гвардии». Поначалу хочется даже воспринять эту трилогию как вольную вариацию и «суммарный образ», своего рода концепт русского социально-психологического романа о революции. Только социальные темы здесь разрежены, а «психотемы» и «психосущности» сгущены. Так выявляется особый подход Муравьевой к истории, который можно назвать эмотивным. Она ищет объяснения всему происходящему со страной не в политических, социальных, экономических обстоятельствах, не в роли тех или иных выдающихся личностей, не в особенностях исторического пути или религиозного самосознания России. Для нее революция – это эмоция, которая постепенно овладевает множеством людей, переливается через край, выходит из-под контроля и перерастает в истерику. Недаром один из главных персонажей «Холода черемухи», Алексей Валерьянович Барченко – это исследователь трансов, истерик, гипнозов и других «измененных» состояний души, работающий по личному поручению Дзержинского на революцию, на ЧК. К нему обращается дерзкая, своевольная Дина, ставшая его любовницей и униженно готовая идти за ним на край света: «Вы же говорите, что истерика – это самое высокое состояние! Вы вон шаманов любите, потому что они все время в истерике! Вы опиум курите! Вы и на Тибет собрались, чтоб только проверить, как там у них с истерикой...» Отсюда и взгляд Муравьевой на революцию: не как на переворот, а как на припадок. Вообще Муравьева – мастер изображения таких чувств: страсти, ревности, обиды, нетерпения, смятения, отчаяния, – которые обладают механизмом самозаводки и перерастают в истерию. На символическом уровне это соприкасается с традиционным представлением о женственности русской души. Русь – «возлюбленная, жена, мать, подруга, незнакомка», а значит, как утверждают психологи, более, чем мужская душа, расположена к таким истерическим состояниям, где сладкая боль и мука наслаждения неразделимы (не случайно само слово «истерика» происходит от греческого, означающего «матка»).

Стиль Муравьевой – это избирательный, утонченный гиперболизм чувств, своего рода гиперпсихологизм.

«Он смотрел на жену с этими ее расширившимися глазами, слушал ее ровный голос, и тихая холодная дрожь колотила его изнутри. Совсем рядом с новой, угрожающей силой прокатились выстрелы». Здесь интенсивность каждого действия: расширившиеся глаза, колотящая дрожь, угрожающая стрельба – доведена до предела, как будто через них проходит одна эмоциональная волна.

Эта концентрация каждого переживания, приобретающего, помимо психологического, еще и событийное, «историко-истерическое» измерение, выделяет Муравьеву в кругу современной женской прозы. Каждое чувство у Муравьевой заостряется, порой до страсти и наваждения, – и перерастает в жизнечувствие. «И главное: ненависть укрупняла наставшую жизнь, наделяя ее почти и немислимым прежде, мучительным смыслом».

Этот сентиментализм, распространяясь на вещи, природу, историю, на своем пределе переходит в анимизм, т. е. представление об одушевленности каждого предмета и мироздания в целом. Это придает особую эмоционально-сюжетную напряженность муравьевской прозе, как будто единая душа правит всем происходящим, в этой душе сливаются люди, дома, облака, деревья, улицы, города, народы... Порою эта интенсивность достигает степени унанимизма – поэтики «общедушия». Такое направление существовало во французской литературе первых десятилетий XX в. (Жюль Ромэн, Жорж Дюамель и др.). Унанимисты стремились показать «единодушную» (unanime) жизнь людей, вещей, событий, обнаружить мистическую душевную связь семьи, группы, толпы. Разумеется, Муравьева далека от урбанистического, коллективистского духа унанимизма. Ее мысль – не народная, а семейная: бесконечно запутанные, обморочные, вяжущие петли отношений между близкими людьми. Но именно в новой трилогии эта картина разваливающейся жизни нескольких семей перерастает в панораму революции, которую Муравьева рассматривает как психиатрический феномен «разделенного помешательства». «...Если в семье есть один сумасшедший, его бредовые идеи, а также и страхи, а также и мании, постепенно овладевают всеми остальными членами семейства... Бред Ульянова-Ленина не только индуцировал его ближайших помощников, но с помощью мощно развитой советской пропаганды завладел огромными массами людей...»

Блестяще написаны портреты исторических фигур, в каждой из которых тоже проглядывает личное безумие, вливающееся в общее безумие революционного времени. Ленин, Дзержинский, Ключев, Есенин, Лариса Рейснер... В портрете последней поражают глаза, «спокойные и бешеные одновременно, похожие на спелые виноградины своим чистым зеленовато-солнечным светом, которые вдруг очень ярко темнели, когда опускались густые ресницы».

Как и во всей нашей вселенной, в мире Муравьевой на маленькую долю видимого вещества приходится огромная масса «темной материи» и особенно «темной энергии». Почти невозможно судить о силе воздействия ее прозы по подбору слов, вроде бы вполне заурядных. Трудно доказывать с цитатами в руках, что эта проза воздействует на читателя своим музыкальным напором, причем музыка рождается не на уровне ударений и слов, а на уровне мотивов, событий, судеб, вступающих в полифоническую переключку. Если остановить поток этой прозы, выделить из него несколько слов, фраз, то можно пожалеть плечами: ну и что? Но эта проза живет только в движении. Если взять на ладонь несколько капель и рассмотреть их бедную прозрачность, то никак нельзя предугадать силы той волны, которая ударит тебя через мгновение. Вообще с уровня языка, излюбленного плацдарма литературы XX в. (как модернистской, так и постмодернистской), сентиментальное направление выходит на уровень тех душевных движений, которые передаются читателю всей протяженностью голоса, всем ритмом дыхания и не воспринимаются в малых промежутках, в фонетических и лексических слагаемых текста. Поэтому нет возможности судить об эстетических свойствах муравьевской прозы лишь на уровне лингвистического анализа, – но только на уровне того, что М. Бахтин называл «высказыванием», т. е. романским целым во всем его эмоционально-смысловом напряжении.

Тем не менее и по частностям иногда можно составить представление о целом. Муравьева обладает поразительным даром вчувствоваться в своих персонажей, видеть их глазами, осязать их кожей и переживать с ними даже смерть. Вот маленький фрагмент, свидетельствующий об изобразительной и метафорической силе ее письма: состояние болезни, едва не закончившееся смертью главной героини.

«Ни света в туннеле, ни даже самого туннеля, ни Дины, ни мамы, ни папы, ни няни, но было болезненно покалывающее, тянущее, сводящее ноги и руки, как сводит их летом в холодной воде, отсоединение ее самой от того, что казалось ею. Это странное, медленное и натужное отсоединение осуществлялось с помощью разрыва каких-то наполненных кровью волокон, которые разрывались не просто так, а каждый пучок со своим новым звуком, и самым отчетливым среди всех был звук, похожий на тот, который весна извлекает из снега, уже почерневшего и обреченного».

Переживание смерти передается звуком снега, с которым он, тяжело вздохнув, вобрав воздух в свои крупнеющие ноздреватые поры, вдруг горестно опадает. Муравьева не просто пишет о чувствах – она умеет их предметно выразить, как мало кто в современной литературе. Это сентиментализм, вобравший в себя точность реализма. А главное для большого сентиментального стиля – Муравьева умеет показать власть души над человеком – загадочной, неведомой души, которая хранит тайны даже от самой себя. «Ни одна душа не знает, что ее ждет. Душе только кажется, что она чувствует все, и в этом ее сокровенная сила». Это душа совсем не в психоаналитическом смысле – юнговской анимы или фрейдовского «оно»; она никак не связана ни с народными мифами, ни с архетипами, ни с индивидуальным или коллективным бессознательным, ни с пансексуальностью. Скорее, это душа в толстовском и пастернаковском смысле, т. е. текучая стихия, которая перетекает из природы в личность, из личности в общество, взаимно наполняя их и заряжая энергией чувства-действия. При этом она не нуждается и не поддается психоаналитической расшифровке.

Душа распоряжается не только поступками человека, но и его судьбой. Чувство судьбы исключительно сильное в прозе Муравьевой: не суетно-паническое, не рабски-фаталистическое, а, хочется сказать, аристократическое, что придает благородный оттенок ее сюжетике и стилистике. Плебей, мелкий человек не знает и не боится судьбы, потому что для него есть только непосредственная данность житейских дел, за которыми не стоит никто и ничто, превышающее его волю. Благо-родный – тот, кто чтит благо своего рождения и родителей, свой род и семью как основания своей судьбы. Благородство и судьбоносность – это почти синонимы, почему о судьбе и говорят: «на роду написано». Таковы персонажи Муравьевой, точнее, таково авторское видение тех личностей, с которыми ее сводит искусство романа. Основа этого высокого сентиментального искусства – понимание души человека как его судьбы, в которую нужно вникать, откликаться на ее зов и, мучительно пытаясь с ней совладать, в конце концов признавать верховность ее власти.

Что радует сердце, когда наступает май? Тепло. Тепло и цветы по полям и по взгорьям. А вот в мае 787 года по всей Европе стояли такие холода, что сердце у птиц на лету разрывалось, и, мертвыми, все они падали наземь. Кто помнит теперь этих птиц? Да никто. Точно так же, как никто не помнит и тех очень грубых, курносых ребят, которые без счета погибли от холода зимою 1408 года,

когда набежали татары. А в 1417 году, спасаясь от голода, русские люди пошли в Литву (да что там «пошли»! – поползли, потащились, детей своих поволокли) – и тут уж морозы настали такие, что прямо с детьми и вмерзали в снега.

Ах, Господи, не перечислить!

«Мразы стояли великие, – говорят летописцы, которых никто больше тоже не помнит. – Зима бысть люта. Поньтское море померзло на 30 локоть, а снег паде на нем 20 локоть». А в ту зиму, когда по Дунаю крестились болгаре, «зима бысть тяжка, студена велми зело, за 120 дён одержаще гололед землю и глад бысть великий...»

Никто нас не помнит, никто нас не вспомнит. И все мы друг друга забудем. Неважно, когда кто замерз. О, неважно! Хоть в прошлом столетии, хоть в понедельник. Замерзла ведь та быстрокрылая птичка? Замерзла и стала комочком надгробья. Потом вместе с веткой продрогшей сирени смешалась с землей. В земле, кстати, кто? В ту пору – девица, поодаль – военный. Ходили к девице папаша с мамашей и тоже почили. К военному часто ходила невеста, пока не просватали. Ча-а-асто ходила!

А взять бы да вспомнить: замерзших, голодных, зверей по берлогам и рыб по озерам, беременных мертвыми детками женщин, старух, выметаемых на тротуары, больных, пересохших от жара и жажды, младенцев, подростков... Зачем? Они были. А толку? Ну разве заметно пылинку, песчинку? Вон сколько земли и песка, сколько снега, зеленой травы, а в траве насекомых – а в каждом и крылышки, и перепонки, и каждое вертит кудрявой головкой, а дождик пойдет – так и черви ползут, и божьи коровки взлетят прямо в небо. И всех нас так много, так неисчислимо... Никто нас не вспомнит, никто не заметит.

Странно, однако, что эта мысль не приносит облегчения.

Зима 1920 года была одной из тех лютых зим, о которых прежде писали летописцы. И поэтому, когда знаменитый певец Федор Шаляпин позировал прикованному к креслу живописцу Кустодиеву, он сидел в бобровой своей шубе, а любимый им черно-белый французский мопс был закутан в пушистый платок, хотя и в платке то чихал, а то кашлял. Картина уже получалась прекрасно, но верить ей было нельзя. И страдающий от тяжелой болезни позвоночника

живописец Кустодиев нисколько не верил тому, что он пишет, и Федор Иванов не верил. И даже большая бобровая шуба, в изображении живописца величаво распахнутая над пестрым собранием людей и церквушек, была вся, от верху до низу, застегнута.

- Вернетесь с гастролей? - вежливо спросил у певца живописец.

- Вернусь ли? А кто его знает? - хмуро ответил Шаляпин. - А кто его знает...

- А я прямиком да на кладбище, - вдруг повеселел Кустодиев. - И Волги своей не увижу. А как хороша! Как прекрасна!

- Какая уж Волга... Теперь не до Волги.

- С женою поедете?

- Да. Вместе с Машей. Иола останется.

- Как вы, Федор Иванов, умудрились устроиться: в одной столице - одна семья, в другой - другая?

- Да что... Одни хлопоты...

- Вы были в Кремле? Я так слышал... - посмеиваясь, словно речь шла о чем-то забавном, спросил Кустодиев.

- Да, был, - с вызовом ответил Шаляпин. - Дочь погибала, Маринка. Через Горького передал: так и так, певец Федор Шаляпин просил принять по личному делу. Безотложному. О жизни и смерти ребенка. Назначили: завтра. Пришел. У них там тепло, не в пример вашей мастерской, и печи хорошие. Везде стоят эти... ну, с ружьями. Охрана, короче. Рожи бандитские. Поганые, наглые рожи. Ведут - два сзади, два спереди. Спрашиваю: куда, мол, идем? Вас, говорят, товарищ Шаляпин, товарищ Ленин ожидает в своем кабинете. Сам Ленин, слышали?

- Ну, ну... - посмеиваясь, сказал Кустодиев. - Везет вам! Сам Ленин...

– Прихожу. И он выбегает навстречу. Я даже не понял откуда. Как будто сквозь стену. Короткий, совсем недомерок. Глаза очень юркие. Я терпеть не могу, кстати, когда у кого глаза юркие. Я сразу ему говорю: «Помогите. Ребенок мой, дочь. Лекарств не достать и питания тоже. А главное – врач. Всех врачей как смело. Кого пристрелили, кто съехал, кто умер». Он сразу вскочил. «Барышня, соедините...» Прокартавил там что-то. Потом говорит: «Завтра у вас, товарищ Шаляпин, будет отличнейший доктор! Наипревосходнейший! Манухин Иван Иванович. Лучший специалист по туберкулезу». Ну, вот. И Манухин помог.

– Милый мой Федор Иванович, – ласково и просто сказал живописец. – Езжайте отсюда быстрее и не возвращайтесь. А то они вас подомнут.

– Не думал, не гадал, – мрачно сказал Шаляпин. – Вот уж правду вам говорю. Как на духу. Что только бежать и останется... Как на духу!

– Куда вы сначала?

– Сначала в Берлин. Потом в Штаты.

– Я тут недавно «Братьев Карамазовых» прочитал, – усмехаясь, сказал Кустодиев. – Как он хотел Митю своего в Штаты отправить, не помните?

– Да я не читал! – с раздражением отозвался Шаляпин. – Ну его к чертям собачьим. Пророк называется... Всё он наврал. Народ-богоносец-то что вытворяет!

Через полчаса, расставшись с бледным от усталости живописцем, Шаляпин вышел на улицу, взял на руки мопса, спрятал его под шубу и зашагал по направлению к Московскому вокзалу. Никого уже не удивляли эти страшные, как страшны бывают скелеты в музее, улицы Петрограда. Люди, пробегающие по этим мертвым улицам, напоминали голодных мышей не только тем, как лихорадочно и темно блестели их испуганные глаза из-под надвинутых на лбы шапок и накрученных друг на друга заиндедевевших платков, но и тем одинаковым для всех страхом, который объединял их, как форма объединяет солдат. Во всем была смерть: в облупившихся вывесках заколоченных магазинов, в темных окнах, в разбитых витринах, в самом этом снеге, летящем на землю, – была неподвижная, жадная смерть.

Тем более странным показался огромному в своей бобровой шубе, оттопыренной на груди разомлевшим под нею мопсом, Шаляпину цветочный магазин на самом подходе к вокзалу. Магазин этот был открыт, и внутри его, за мутным морозным стеклом, стояли букеты и вазы с цветами. Шаляпин зашел. В магазине, маленьком, но красиво и аккуратно прибранном, топилась железная печка, и стебли цветов были чуть красноватыми. У самого огня, вытянув из-под черной короткой юбки ноги в валенках и закутавшись в вязаную шаль, сидела молодая девушка, бледным лицом и волнистыми русыми волосами живо напомнившая Шаляпину русалку из одноименной и сто раз пропетой им оперы. Русалка посмотрела на вошедшего с удивлением и даже испугом. Шаляпин слегка улыбнулся.

- Неужто цветы еще кто покупает?

- А как же? - охрипшим простуженным голосом ответила русалка. - Всегда покупали и будут.

- Да, странно... - пробормотал он. - У людей платья не осталось переменить, а тут у вас розы...

Она вдруг покраснела так горячо, как краснеют только очень молодые люди с нежной и чувствительной кожей.

- Цветам-то что делать? Они ни при чем!

- Ну, дайте мне розу, - попросил Шаляпин.

- Одну? - испугалась русалка.

- Зачем же одну? Штук двенадцать.

- Пять тысяч букет. А если возьмете вчерашних - четыре.

- Нет, дайте мне свежих.

- Цветы покупают! - вдруг, словно бы вспомнив о чем-то, воскликнула она. - Ведь люди встречают друг друга... Им нужно!

Она произнесла это так страстно, с такой убежденностью, как будто и впрямь на вокзале встречаются друг друга с букетами, будто, как прежде, бегут поезда, и на сиденьях вишневого цвета, как прежде, сидят аккуратные люди, а дети в матросках и бархатных куртках грызут шоколад, и кудрявые няньки платком вытирают их липкие пальцы, – она произнесла это так, что Шаляпин, весь день находившийся во взвинченном и раздраженном состоянии, приоткрыл рот от удивления и, когда она протянула ему красиво завернутый в бумагу букет, пожал ее тонкую, слабую руку повыше запястья.

По расписанию московский поезд отходил через полтора часа, но верить расписанию было нельзя, и вполне могло случиться, что из Петрограда не удастся уехать не только сегодня днем, но даже и ночью, а может, и утром. Те же самые люди, которые испуганными тенями, согнувшись от холода, пробегали по сверкающим белизной улицам города, теперь словно все собрались на вокзале. Шаляпин был почти уверен, что именно этого господина со злыми глазами он видел вчера на Литейном, и эту старуху с котомкой, и девку, которая так же, как утром на Мойке, кусала кудрявую, жирную косу. Люди потеряли то, что раньше отличало их друг от друга, все стали похожими, сплющились, сжались, и, чувствуя это, но не понимая, какого еще унижения ждать, все стали сердитыми, захлопотали, как будто боясь, что иначе их просто в канавы сметет или снегом засыплет.

В помещении вокзала работал буфет, где ничего не было, кроме водки и морковного чаю. Буфетчик с угреватым лицом монотонно объяснял сгорбленному молодому человеку в продрванной шубе, что завтра должны быть «пирожные с манкой». И тот кивал радостно и удивленно. За водкой, только что опять разрешенной к продаже, стояла угрюмая возбужденная очередь, состоящая из мужчин и женщин, которые не обращали никакого внимания на косо висевший плакатик со строчками из нового стихотворения Бедного:

Аль не видел ты приказа на стене

О пьяницах и о вине?

Вино выливать велено,

А пьяных – сколько ни будет увидено,

Столько будет расстреляно.

– Двери! Двери-то прикрывайте! – озлобленно крикнул буфетчик. – Всю залу мне выстудют!

В помещении вокзала было тепло от большого скопления человеческих тел и пахло дыханием, тяжелым и грубым, и потом, и запахом мокрого снега.

Шаляпин со своим белым «свадебным» букетом и мопсом, мирно сопящим внутри его бобровой шубы, стоял перед буфетной стойкой и ловил на себе острые и озлобленные взгляды. Ему показалось странным, что его никто не узнает и, стало быть, слава, которая казалась ему прочной, как собственная рука с холеными ногтями, есть не что иное, как плод самолюбивого воображения, и он будет так же забыт, как и все, в безрадостном этом и скученном мире.

В залу, широко ступая по мокрому от растаявшего снега полу, вошла женщина с таким же, как у Шаляпина, «свадебным» букетом. Он усмехнулся, увидев, что кто-то еще здесь купил эти розы и выглядит так же нелепо, как он. Надо заметить, что Федор Иванович был большим любителем женщин и к женской красоте относился с некоторым даже почтением, как к красоте хороших лошадей или к чистокровным породам собак. Он расстегнул шубу, вызвав этим недовольство пригревшегося мопса, и, усевшись за буфетной стойкой, спросил себе водки, не спуская при этом взгляда с вошедшей женщины. В том, что она была красавицей, сомневаться не приходилось, хотя красоту этого румяного лица сильно портило то, что она явно брезговала окружавшими ее людьми, их терпкими запахами, их выбившимися из-под шапок и платков сальными волосами и не скрывала того, что ей гадко находиться сейчас среди всего этого. Брезгливость, как все неизящные чувства, конечно, мешает любой красоте. На девушке была короткая шубка и круглая, такого же меха, боярская шапочка с наброшенным сверху пуховым платком, который она раздраженно откинула, как только вошла в эту залу с мороза. Она дождалась, пока подойдет ее очередь, и спросила у буфетчика стакан морковного чаю и рюмку водки, потом пристроилась на краешек деревянной лавки, спинка которой была вся испещрена похабными надписями, залпом опрокинула водку, закрыла глаза, глубоко задышала и принялась пить жидкую коричневую бурду, откусывая понемножку от куска завернутого в бумажку сахарина. Шаляпин удивлялся все больше. Подойти к ней с каким-то вопросом было неловко: он представил, как она, с этой брезгливостью на лице, может посмотреть на него, и внутренне весь покорежился.

Она допила чай и теперь сидела неподвижно, не обращая больше внимания на ругательства, слезы и крики, наполнившие перегретую большую комнату. Два бывших солдата в обмотках – у одного было отморожено ухо и, черное, как гриб, торчало теперь из-под шапки – встали с той лавки, на краешке которой она примостилась, и Шаляпин тут же подсел.

– Да я вас узнала, узнала! – с досадой сказала она и, вынув шпильку из пучка, свисавшего на шею из-под шапочки, зажала ее в губах, обеими руками подбирая рассыпавшиеся волосы и глядя на него исподлобья. – Уж вас не узнать! Вы ведь Федор Шаляпин.

– А вы кто, позвольте спросить?

– Я – Дина Ивановна Форгерер, актриса в театре.

– И муж ваш... – начал было Шаляпин. – Знакомое что-то мне имя...

– Муж тоже артист, – равнодушно сказала она. – Сейчас он играет в Берлине.

– Он выслан?

– Да нет, он нисколько не выслан. Контракт предложили, и он там остался.

– А вы почему здесь? – прямо спросил он, поражаясь никогда не виденному им прежде темно-бронзовому с красным и золотистым цвету ее мокрых от растаявшего снега волос. – Вы, что, развелись?

– Мы не развелись, – ответила она. – Мы просто расстались. Вернее, не просто. Он очень не хотел меня отпускать.

– Но вы-то... Зачем вы вернулись?

– Федор Иванович, – сказала актриса Форгерер и опять посмотрела на него исподлобья. – Вы мне слишком уж много вопросов задаете. Если бы не то, что вы такая знаменитость, я бы, знаете, и совсем не стала вам отвечать.

– Простите меня, ради Бога! – воскликнул Шаляпин. – Но все-таки странно: на этом вокзале, среди этой мерзости, хаоса, грязи, вдруг встретить такую, как вы... Ради Бога, простите!

– Пойдемте отсюда, – вдруг попросила она и набросила на голову платок. – Здесь нечем дышать.

Они вышли и медленно пошли по платформе, по-прежнему полной какого-то люда, темной и кислотовато пахнущей промороженными рельсами.

– Куда вы едете, Дина Ивановна? В Москву?

– Я думала, что сегодня встречу его, – не отвечая на вопрос, сказала она и остановилась. – Но поезд пришел, а я никого не встретила. Он не приехал. Вот так. Не приехал, и всё.

Она словно бы забыла, что рядом идет человек, который слышит то, что она произносит, ей не было никакого дела до этого человека. Шаляпину стало неловко. Эта молодая женщина с поразительной внешностью не могла стать дорожным приключением: подобно тому, как чужой виноградник, просвечивая сквозь колючую изгородь своими тяжелыми гроздьями, дразнит и лишь раздражает голодного, так и ее красота раздражала, дразнила, но не подавала и малейшей надежды.

– Но вы ведь не мужа встречали, конечно? – спросил он, сердясь на самого себя за эту неловкость.

Состав подошел, их ударило паром. Они отступили.

– Пойдемте обратно, – сказала она. – А то еще поезд пропустим. Вы в первом, наверное, едете?

– Да, в первом, – ответил Шаляпин. – Хотя в этой неразберихе...

– И я, разумеется, в первом. А ведь никудашня из меня Анна Каренина! – вдруг засмеялась Дина Ивановна. – Напрасно я это затеяла.

Она отбросила свой букет далеко в сторону и, не оглядываясь, быстро пошла назад.

Проводник, немолодой, с выпуклыми, пестрыми, как пчела, глазами, принес два стакана кипятка, зажег золотистую тусклую лампу и, получив от Шаляпина на чай, закрыл за собою дверь, пожелав «товарищам» доброй ночи.

– Вы знаете, Федор Иванович, – хмельным и слишком бодрым голосом сказала Дина, прижимая оттопыренные губы к оконному стеклу и дуя сквозь них. – Вы, наверное, думаете, что раз вы артист, вы все понимаете, правда? А это не так. Я знаю, что все вы – артисты и всякие там музыканты, художники, даже писатели – несколько не умные люди.

Она оторвала губы от стекла и улыбнулась ему через плечо мягкой и веселой улыбкой, никак не соответствующей ее хмельному и громкому голосу.

– Мы все совсем разные люди, – удивляясь ее поведению, сдержанно ответил Шаляпин. – Есть глупые, есть поумнее. При чем здесь – артист и писатель? Уж кто кем родился...

– Артисты и писатели, наверное, думают, что самое главное – это любовь между мужчиной и женщиной, поэтому они все время пишут и сочиняют только о любви. А это вранье. Ох, вранье! Я-то знаю...

И снова приникла к стеклу.

– Вы словно истерзаны, Дина Ивановна, – пробормотал Шаляпин.

– При чем здесь «истерзана»!.. Кто не истерзан? Я мужа-то бросила, кстати. Взяла да и бросила сразу после нашего медового месяца, вернулась к сестре... И вот ведь я знаю, что больше никогда не увижу его, а ничуть не переживаю. Меня даже совесть не мучает! Что вы молчите?

Она отлепила лицо от стекла: губы ее были пухлыми, едва розоватыми в полутьме. Шаляпин вдруг понял, что она совсем молода: не старше двадцати.

– Как вы думаете, – быстро спросила она, – ведь мы все погибнем?

– Почему погибнем? – Шаляпин сердито посмотрел на нее. – Первая жена родила мне девятерых детей, один сыночек помер, Илюша...

Дина Ивановна торопливо перекрестилась.

– У меня племянник тоже Илюша, – испуганно сказала она. – Дрожим все над ним... Страшно любим!

– Вторая жена моя, Маша, троих родила, – продолжал Шаляпин. – Все дочери, красавицы. Если я так буду думать, как вы сказали, что, мол, все погибнем и все давно к черту летит, зачем же я этих детей нарожал?

– Да, да! – откликнулась она. – А в моей семье все наоборот. Мама родила Тату от своего первого мужа, потом полюбила моего отца и бросила этого мужа, и дочку свою тоже бросила. Потом уже я родилась, за границей. С Татой мы первый раз увиделись, когда мне четырнадцать было, а до этого мама о ней почти и не рассказывала... Странно, правда? Этого я ей до сих пор простить не могу. Потом умер мой отец. Это было очень страшно, никогда не забуду! У него была немецкая фамилия, его дед был немцем, и к нам в квартиру ворвались пьяные мерзавцы. И все разгромили, разбили, разграбили. Тогда ведь война началась, немцев все не любили. И папочка умер, сердце остановилось. Он так и упал, в коридоре. А мне тогда было пятнадцать.

– Владыка Небесный! – сказал Шаляпин и медленно, картинно перекрестился, словно на сцене. – Вам много пришлось пережить.

– Мы переехали к маминому первому мужу – он маму мою очень сильно любил, сейчас тоже любит, – и начали жить уже вместе, семьей. Потом моя мама уехала. Ей дом нужно было продать, он в Финляндии, но тут революция... – Она прикусила губу. – И мама пока еще там. Не вернулась.

Шаляпин поразился соединению детского, наивного, простодушного с каким-то упрямством и даже жестокостью на этом красивом румянном лице.

– Вы молоды, Дина Ивановна, – помолчав, сказал он. – А многого, верно, хлебнули. Досталось вам, вижу.

– Кому? Мне досталось? Ах, что вы, нисколько! Сестре вот досталось, да и достается. А я – что? Как с гуся вода!

– Кого вы сегодня встречали?

– Федор Иваныч! – надменно отрезала она. – От того, что мы с вами сейчас так разговариваем, вовсе не следует, что я вам должна столько сразу открыть. Я, может быть, выпила лишнего, очень замерзла. А вы подумали, что я вам всю душу сейчас так и выложу? Вы, верно, романов начитались, Федор Иваныч, или уж очень много с разными артистами водитесь. У них это принято. А я, хоть и играю на сцене, но я другая, Федор Иванович! Мы с мамой и Татой совсем не такие! Мы скрытные, вот что.

– Сестра ваша тоже такая красавица? – кротко спросил Шаляпин, невольно любуясь ею.

– Намного красивей, намного! – вспыхнула она. – И сравнивать нечего. Она, правда, тихая. Терпит, и все. А я не могу. Не умею. Что ж делать?

Дина Ивановна Форгерер отвернулась от него и снова прижалась губами к стеклу. Шаляпин осторожно погладил ее по голове. Бронзовые волосы пружинили под его ладонью. Он ощутил привычное мужское волнение, которое возникало всегда, когда он притрагивался к привлекательной женщине, но сейчас оно не перерастало в телесное желание и не мучило его своею неопределенностью. Он вдруг почувствовал, что ее хочется защитить так же, как собственных детей, и, когда она, оторвавшись от окна, взглянула на него несчастными глазами, Шаляпин ее не притиснул к себе, не впился всем ртом в эти пухлые губы, а тихо прижал ее голову к шарфу, пропахшему шерстью французского мопса, и начал слегка напевать ей в затылок:

Как у нашего кота

Была мачеха лиха,

Она била кота,

Приговаривала:

Не ходи-ко, коток,

По чужим, по дворам,

Не качай-ко, коток,

Чужих детушек,

А качай-ко, коток,

Нашу Динушку...

Дина Ивановна притихла, и вскоре он почувствовал горячую влагу на своем плече.

«Ну, слава Те, Господи! – подумал Шаляпин. – Пускай хоть поплачет! Вот так-то вернее...»

– Как же я буду жить теперь? – прошептала она, крепче прижимая свою голову к его груди. – Ведь это конец! Федор Иваныч, ведь это конец! Ведь он не приехал сегодня!

– Да кто это «он»? – терпеливо спросил Шаляпин.

– Он – Бог мой! – шепнула она. – Как Бог может все, так и он. Вы встречали таких? Конечно же, нет! И не встретите. Но я не могу вам всего рассказать. Он год был на Севере, вы понимаете? Мы год с ним не виделись. Это где-то на Кольском полуострове, страшно далеко! Он поехал в экспедицию, чтобы найти там пропавшую цивилизацию. Так он мне тогда говорил. Он очень известный ученый, философ. К тому же и доктор, и маг, и профессор. Но с этой экспедицией... Он ее нарочно придумал. Он просто хотел нас спасти. Не только себя и меня, но и Тату, сестру мою, и... Ну, неважно! Там много всего было, много замешано. И он все продумал, он все сотворил. Как Бог, понимаете? Взял с меня слово, что я сразу тоже уеду отсюда. Что все мы уедем. С Алисой и няней...

Она судорожно всхлипнула.

– А я не уехала, я не смогла! Я подумала, что, если я уеду отсюда, уже никогда не увижу его! Где я тогда могла бы увидеть его? Когда? Мы долго обсуждали это с Татой, и она согласилась со мной. Она тоже была уверена, что мы, наверное, погибнем здесь, но она мучается еще больше, чем я, потому что у нее же Илюша,

у нее сын, а она из-за своего любовника не может уехать и говорит, что она преступница, потому что не думает об Илюше, которого надо спасти... Мы с ней тогда сказали друг другу, что мы обе такие же, как мама, потому что мама не за детей переживала, не за Тату и не за меня, а только и думала о том, с кем она хочет жить, а с кем не хочет. Она любила моего отца и ушла к нему! Сразу! Вы понимаете, что это такое: бросить маленькую дочку, бросить хорошего доброго мужа и даже на разводе настоять только потому, что она никаких адюльтеров не хотела, она хотела честно! А то, что за честностью этой стояло... Такая жестокость ужасная, правда? На это ей было плевать совершенно! Но я не хочу быть как мама. И Тата не хочет. Теперь понимаете?

– Вы прелесть, Дина Ивановна, – пробормотал Шаляпин и не удержался, поцеловал ее волосы, но она даже не заметила этого.

– Какая там «прелесть»! Я Колю замучила, мужа. А он мне все пишет и пишет! Все пишет и пишет! Я больше всего боюсь, как бы он не придумал вернуться. А вы знаете, что уже закон вышел: расстреливать тех, кто возвращается? Потому что все, кто возвращается, шпионы! Мой Коля – шпион. Вы представьте! Он всю свою жизнь был актером и больше никем. Он актер от природы. Ему ничего и не нужно другого, как только на сцене играть! Сейчас вот, со мною, он тоже играет... Ах, нет, это грубо, что я говорю! Но он увлекается ролью. Вот осенью он написал, например: «Меня и опасностью не напугаешь». Я просто руками всплеснула: дур-р-рак! Ведь я-то все знаю, я все понимаю! И очень давно. Раньше всех, раньше многих...

Дина Ивановна поняла, что проговорилась, и закусила нижнюю губу.

– Наверное, он объяснил? Тот, кого вы встречали? – деликатно спросил Шаляпин.

– Да, он, – кивнула она, прямо глядя ему в лицо своими блестящими глазами. – Он мне не писал почти год. А тут телеграмма, что экспедиция закончена и они сегодня, в пятницу, возвращаются мурманским поездом в Питер. Я бросила все и помчалась. А он не приехал!

– Ну, мало ли что...

Она вдруг устало махнула рукой:

– Я знала, что все так и будет. И Тата увидела сон.

– Да кто же снам верит? – возразил было Шаляпин, но она не дала ему договорить.

– Еще бы не верить! Она увидела, что я захожу в кухню с черного входа и у меня в руках корзина с бельем. И я будто начинаю из этой корзины вынимать какие-то сорочки – все белые, чистые – и вдруг достаю одну, а она в крови. И я говорю: «Не бойся, это моя».

Дверь отворилась, в купе заглянул проводник с пестрыми пчелиными глазами.

– Местечко найдется? Входите, товарищ!

Втиснувшийся вслед за проводником человек был огромного роста – едва ли не выше Шаляпина, в добротном сером пальто с меховым воротником и черных высоких ботинках на пуговицах. Он сел рядом с Диной, размотал шарф, открыв большой тяжелый подбородок со шрамом, упирающимся в угол узкого рта, где кожа казалась прихваченной изнутри, как ткань бывает прихвачена английской булавкой.

– Прошу извинить за вторжение. Поезд забит.

Он раздраженно снял очки, протер их вынутым из кармана носовым платком и снова надел, а платок аккуратно сложил и спрятал в карман.

Дина Ивановна пожала плечами и немедленно отвернулась к окну, ловящему мутные волны метели. Шаляпин сказал:

– Добрый вечер.

И вновь наступило молчание. По лицу пассажира маслянисто скользнул свет станционного фонаря.

– Приятно, оказывается, ехать в столь близком соседстве с великим артистом. – Новый пассажир усмехнулся. – Сидишь – и как будто в театре. Я – Павел Андреич Терентьев.

Шаляпин насупился и промолчал. Павел Андреич близко поднес к глазам волосатое запястье.

– Нам с вами придется потерпеть друг друга, граждане, не так уж и долго. Предлагаю спокойный дружеский разговор. Не хотите?

– Нет, я подремлю, – отозвался Шаляпин. – Глаза просто сами слипаются.

– И верно! Человеку гораздо чаще хочется побыть в одиночестве, чем в этом принято признаваться. Читали вы «Робинзона Крузо»? Весь успех этого малого состоял в том, что он остался один и никто ему не мешал. Вы как полагаете, мадемуазель?

Дина удивленно повела на него глазами и ничего не ответила.

– Ну, спать – значит, спать! – бодро воскликнул Павел Андреич и, сняв очки, крепко зажмурился. – Еще раз прошу извинить за вторжение.

Ничего особенно неприятного не было в этом массивном и хорошо одетом человеке, но и Дина Форгерер, и знаменитый на весь мир певец Федор Иванович Шаляпин почувствовали неприятную неловкость.

– У моей сестрицы покойной, – не открывая глаз, сказал Павел Андреич Терентьев, – был попугай. Муж ее капитаном служил на торговом судне, в экзотических странах посчастливилось побывать. Привез попугая. Болтун был ужасный. Сестрица его научила – по-русски, разумеется. Так вот, как сейчас помню, загонят его вечером в клетку, накроют платком, а он оттуда, из-под платка, гнусавит: «Увидимся завтра! Увидимся завтра!» – Он приоткрыл глаза. – Вот так же и я говорю: «Увидимся завтра!»

Дина и Шаляпин переглянулись. Опять наступило молчание. Федор Иванович мог бы поклясться, что он не собирался спать в эту ночь, и странное предчувствие, что вот-вот должно произойти что-то особенно безобразное не то с ним самим, не то с кем-то из очень близких ему людей, не оставляло его с момента, как только он сел в этот поезд; но мерный стук колес и мягкая темнота вызвали в нем легкое и приятное головокружение, от которого Федор Иванович, в конце концов, уселся поудобнее, вытянул ноги и вскоре заснул очень крепко и сладко.

Очнулся он оттого, что мопс лизал его щеку своим горячим шершавым языком, и голос женщины, с которой Шаляпин вчера познакомился на питерском вокзале, сказал возле самого уха:

- Исчез, слава Богу! Какой неприятный!

Дина Ивановна Форгерер, в шубке и шапочке, низко надвинутой на лоб, обращалась к Федору Ивановичу, и требовательность в ее интонации приказала ему немедленно вернуться к действительности.

- Проснулись? Медведь так в берлоге не спит, как вы спали! Завидую вам. Я и глаз не сомкнула. Сейчас выходила; он был здесь, дремал. Вернулась – его уже нет. Куда же он делся?

Ему показалось, что она еще больше похудела и, может быть, даже постарела за эту ночь. Видно было, что она борется с собой и ни за что не хочет возвращаться ко вчерашнему, слишком откровенному разговору.

- Кто делся? – не понял Шаляпин. – Ах, этот! Да что он вам, право? Исчез – и прекрасно.

Она не ответила. Поезд со скрежетом остановился. За окнами замелькали лица, узлы на плечах, чемоданы, коробки... Шаляпин засунул собаку под шубу и в руку взял трость. Букет, как бывает со всеми, которых внезапно бросают, вдруг переменялся: стал вялым, бесцветным, напуганным, жалким, остался, как мертвый, лежать на сиденье.

- Куда вы теперь? – спросил Шаляпин у Дины.

- Домой, – сонно ответила она. – Куда же еще?

- Дина Ивановна, – чувствуя, что нужно непременно успокоить и ободрить ее, пробормотал Шаляпин. – Вы так молоды, так собою хороши... У вас еще все впереди...

- Да хватит вам, Федор Иваныч! – оборвала она. – И так все понятно.

– Хотите, я вас провожу?

– Увольте. Зачем же? Не те времена. И холод какой! Вы на автомобиле?

– Нет, я на извозчике.

Они уже стояли на перроне. Утренний мороз колкими своими, рассыпающимися искрами забеливал темную жизнь. Человеческие тела, угрюмые лица, шаркающие по снегу валенки, разинутые рты, раздутые ноздри – все уродливое, растерзанное, охваченное паникой и оттого кажущееся первобытным, грубо животным и, может быть, даже немного червивым, как будто бы все это стыло в земле и грызло друг друга, стремясь на поверхность, – все это кричало, бежало, несло, и снег серебрил исступленные крики...

– Прощайте, Федор Иванович, – сказала Дина Форгерер, и у Шаляпина сжалось сердце. – Спасибо вам, милый. Вы милый, чудесный...

– Прощайте, – ответил Шаляпин, и в горле почувствовал соль. – Осторожней...

Она подхватила дорожную сумку, ладонью закрылась от ветра и побежала к выходу. Шаляпин провожал ее глазами. Она не сделала и двадцати шагов, как сбоку от нее вдруг выросла огромная фигура Павла Андреича Терентьева, который властно взял ее под руку, как будто имел свое право на это. С другой стороны к Дине Ивановне Форгерер подошел совсем уж незнакомый человек, весь в черной облупленной коже, в которой многие ходили в это время благодаря тому, что пошитые для будущего авиационного батальона в первые месяцы Мировой войны куртки так и остались невостребованными и перешли в распоряжение ЧК. Шаляпин заторопился вперед, чтобы вмешаться, но толпа оттеснила его, от сильного толчка в спину бобровая шапка упала на снег, и мопс завозился под шубой. Федор Иванович, чертыхаясь, надел свою шапку и палкой пытался пробить себе путь сквозь вокзальное месиво, но Дина и оба ее провожатых куда-то исчезли.

Прославленный на весь мир русский бас не мог знать того, что случилось. Обнаружив прямо у своих глаз закутанное шарфом лицо Терентьева и почувствовав себя намертво схваченной с одной стороны богатырской рукою этого самого Терентьева, а с другой стороны маленькой, но жесткой и цепкой

рукою кого-то, кого она даже не видела прежде, Дина Форгерер попыталась было закричать и вырваться, но они держали ее крепко, и Павел Андреич сказал ей настойчиво:

- Тише вы, тише!

- Да кто вы такие? - возмутилась она. - И как же вы смеете...

- Тише, Дина Ивановна, тише! - повторил Терентьев. - Без нервов, прошу вас.

- Откуда вы знаете, кто я?

- Да кто вас не знает? - развязно пошутил он в то время, как легкая ее фигурка в темной меховой шубе и шапке такого фасона, как прежде носили боярышни, почти повисала на сильных руках их, влекомая к выходу с той быстротою, с которою ветер гнал снег над вокзалом.

В машине они отпустили ее. Терентьев сел слева, а кожаный справа, и сильно запахло бензином.

- К портнихе, - сказал раздраженно Терентьев.

- К портнихе? Зачем? - И Дина опять начала вырываться.

Кожаный засмеялся отрывистым смехом:

- Пошьем тебе платьице. Шоб ты не мерзла!

- Потише, товарищ Астахов, - оборвал Павел Андреич и негромко ответил Дине:

- Вы все сейчас сами увидите.

На Молчановке машина обогнула низенькую старинную церковь и остановилась у ничем не примечательного каменного дома.

- Я вам не советую кричать, Дина Ивановна, - сказал Терентьев, вылезая на улицу. - Вы здесь не на сцене. И рано к тому же. Жильцы еще спят.

Вошли в холодный, затоптанный подъезд, поднялись на четвертый этаж. Дина не могла объяснить себе, отчего она вдруг подчинилась этим людям и молча, покорно идет по ступенькам, которые сильно стесались за годы и стали пологими и бестелесными. Дверь открыла пожилая, со следами жгучей красоты женщина, вся в резких, глубоких морщинах, с темными встревоженными глазами.

Висевшее в коридоре тусклое зеркало с черными от старости пятнышками отразило массивную фигуру Терентьева, кожаную авиационную куртку товарища Астахова, на которой слегка заснеженная голова его казалась почти что ненужной и лишней, и словно бы где-то вдали, за их спинами, в надвинутой шапочке Дину Ивановну.

– Раздеваться не предлагаю, – негромким, как будто припудренным голосом сказала хозяйка. – Сейчас только топим, еще не прогрелось.

В комнате вокруг стола, покрытого рыжей бархатной скатертью, чинно стояли такие же рыжие кресла со львами, открывшими пасти. В одном углу медленной смертью умирало утратившее запах, сухое тропическое растение, к которому либо привыкли, как привыкают к умирающему, кротко лежащему на своей постели и ничего от живых не требующему, либо просто всё забывали выбросить его на верную, быструю смерть, на мороз. В другом углу тускло чернел хоботок граммофона. Хозяйка, опустив набрякшие глаза, тут же вышла.

– Садитесь, Дина Ивановна, – устало попросил Тереньев и со скрипом отодвинул два рыжих кресла.

Астахов, которого Дина наконец рассмотрела, был низок ростом, кривоног и очень широк в плечах. Теперь, когда он расстегнул свою куртку, как будто ему одному было жарко в нетопленной этой квартире, под грязной, измятой рубахой обрисовалась мощная и выпуклая грудная клетка, в которую словно ввинтили такую же мощную крепкую шею.

– Замучились мы в этом поезде, – зевая, пробормотал Терентьев, всматриваясь в разгорающееся за окном утро. – Вон снег перестал. Вроде солнышко... Чаю хотите?

– Я ничего не хочу! – закричала Дина. – Зачем вы меня привезли? Что вам нужно?

– Смотрите, смотрите, – заговорщицки, как будто между ними была тайна, заговорил Павел Андреич. – Смотрите, вот я вам сейчас покажу! Прекрасные снимки. Прекрасного качества. Фотограф попался хороший...

Он полез во внутренний карман своего добротного костюма и, достав из кармана пачку фотографий, начал раскладывать их на столе так, как раскладывают игральные карты. На всех фотографиях был Алексей Валерьянович Барченко, и сердце внутри этой гордой, внутри этой любящей Дины Ивановны, актрисы в одном из московских театров, замедлило ход свой. Потом она вдруг ощутила его – совсем высоко, возле самого горла, – и там, где оно быстро билось, горела, как будто стегнули крапивой, вся кожа.

– Водички нам, Софья Семённа! – крикнул Павел Андреич Терентьев. – Сейчас они в обморок тут упадут!

Дина сделала глубокий вдох, потом такой же резкий, глубокий выдох, как ее учил когда-то законный муж Николай Михайлович Форгерер, и сердце вернулось на прежнее место.

Алексей Валерьянович казался постаревшим лет на двадцать. Он густо зарос бородою, и взгляд его, бешеный и незнакомый, испугал ее. Алексея Валерьяновича окружали большие снега, и на одной фотографии он так и сидел, прямо в этих снегах; а рядом, весь скрюченный, как обезьянка, к нему притулился старик в пушистых богатых мехах, украшеньях, а мордочка плоская, словно тарелка.

– Шаман, – объяснил Павел Андреич. – Они там все пьяницы, эти шаманы.

– Послушайте, – чувствуя, что и лицо ее, и затылок, и даже спина становятся ледяными, а голос дрожит, прошептала она. – Чего вы хотите?

– Давайте мы с вами под музыку потолкуем, а? – предложил Терентьев. – Беседа у нас непростая, а тут везде уши... Зачем нам свидетели? Товарищ Астахов! – обратился он к застывшему у дверей Астахову. – Да я же вам чаю велел принести!

– Велели вы ей, а не мне, – грубо ответил Астахов, однако вышел, и слышно было, как он громко говорит кому-то за дверь: «Товарищ Терентьев с дороги, уставший, а вы даже чаю не можете...»

Его перебил припудренный голос Софьи Семеновны, которая объясняла, что не было воды. Павел Андреич подошел к граммофону, поставил пластинку, раздалось шипенье, треск, и голос Шаляпина громко запел:

Запрягу я тройку борзу

Черногривых лошадей,

И помчусь я в ночь морозну

Прямо к любушке своей.

Терентьев придвинул свое кресло поближе к Дине.

– Ну, вот и побеседовать можно, а нам там пока чайку сделают. Как давно вы находитесь в любовной связи с товарищем Барченко Алексеем Валерьяновичем? – И сильным ногтем щелкнул по глазам Алексея Валерьяновича, глядящего на Дину с заснеженного фотоснимка.

Она задохнулась.

– Вы что? Как вы смеете...

– Дина Ивановна, – перебил ее Терентьев, – вы даже и представить себе не в состоянии, сколько я всего смею! Давайте к окну подойдем.

Он с силой приподнял Дину за локоть, сдернул ее с кресла и подвел к окну. Тихий и сонный московский двор казался каменным от мороза, но наверху, в небе, где только что поблескивало холодное солнце, метались какие-то рваные тени, как будто на небе случилось сражение и души погибших искали приюта.

– Открою окошко, – задумчиво, словно он не хотел мешать Шаляпину, заговорил Терентьев, – возьму вас и сброшу в сугроб. Четвертый этаж. Умрете не сразу, но точно: умрете.

Она опять набрала полную грудь воздуха, задержала его и выдохнула.

- Дышите, дышите! - усмехнулся Павел Андреич. - Перед смертью, как говорится, все равно не надышитесь... Так мне повторить свой вопрос?

- Я познакомилась с товарищем Барченко два года назад на репетиции спектакля.

- Это нам известно. Наш сотрудник по фамилии Мясоедов, - он быстро взглянул на Дину, - пустой, впрочем, малый, утверждает, что вы регулярно проводили время в квартире Алексея Валерьяновича Барченко и участвовали в его этих... как там? - ну, опытах, что ли. И были при этом его же любовницей. Об этом вот я и хотел побеседовать.

- Никаких опытов я не делала!

- Дина Ивановна, - прошептал он, приблизив свои губы к самому уху Дины, закрытому бронзовыми волосами. - Вас в этом не подозревают. Я говорю вам, что он, то есть Алексей Валерьянович, проводил свои опыты с вашей, так сказать, помощью, то есть вы служили ему материалом. Как, знаете, мышки, лягушки...

Дверь отворилась, и Софья Семеновна, переодевшаяся в какой-то пестрый восточный халат с наброшенным на плечи платком, с зажатой в углу неряшливо накрашенного рта папиросой, вошла с подносом, на котором стояли две чашки настоящего крепкого чаю и рядом на блюде был целый лимон, нарезанный тонкими дольками.

- Прошу, - выдохнув кольцо папиросного дыма, произнесла Софья Семеновна.

- Спасибо, спасибо, голубка, - быстро откликнулся Терентьев. - Попейте чайку, Дина Ивановна. Не хотите? А может, покрепче чего-нибудь?

Дина с отвращением замотала головой. Волосы упали из-под шапочки, накрыли плечи.

- Ну, просто картина - сейчас в галерею! - усмехнулся Терентьев. - Думали небось, что с такой красотой вам все дозволяется? А вот и ошиблись! Другая

эпоха. Что ж вы меня не спросите, почему товарищ Барченко не приехал вчера, как обещал?

Она посмотрела на него исподлобья.

- Софья Семенна! - крикнул Терентьев. - Будьте так добры, голубка моя, плесните чайку там Астахову! А нам коньяка принесите. Так что, пить не будете? - обратился он к Дине, наливая коньяк, принесенный Софьей Семеновной, в чашку из-под чая.

- Не буду.

- Да? Странно. А мне говорили, вы пьете... Ведь вы же актриса. Актрисы все пьяницы. Или неправда?

Дина вдруг почувствовала, как все поплыло перед глазами, зацепляя мелкие подробности этой комнаты, налившейся вновь темнотой после солнца: кусок паутины на ножке дивана, потом бахрому этой вытертой скатерти...

- Выпейте, выпейте! Доктора здесь нет, некому с вами возиться, - громко сказал Терентьев, поднося к ее губам чашку с коньяком.

Она отпила глоток. Комната перестала кружиться, голос Шаляпина стих, и в граммофоне что-то зашипело.

- Лимончик возьмите. Заешьте. Ну вот... Теперь отвечайте.

- Я что, арестована?

- Нет, вы свободны. Ответить, однако, придется. Иначе...

- Убьете?

- Не сразу, не сразу! Сперва поработаем, дел у нас много. Так что же проделывал с вами товарищ Барченко Алексей Валерьянович?

- Что значит «проделывал»?

- Что значит «проделывал»? – Терентьев скучающе приподнял брови. – Я вам помогу. Нам известно, что по части мужского, так сказать, энтузиазма товарищ Барченко не отличается особыми способностями. Весьма, как мы знаем, умерен...

Она сдавленно застонала от стыда, ярости, унижения и тут же уткнула в ладони лицо. Терентьев поднялся, достал из застекленного буфета рюмку и доверху наполнил ее.

- Глотните, глотните, – сказал он брезгливо, как будто ему это все надоело.

Дина выпила залпом и задохнулась.

- Вы состояли в любовной связи с товарищем Барченко, а нам известно, что он обладает особой, еще не изученной силой, с помощью которой подчиняет себе людей, и, в частности, женщин. Красивейших женщин! А сам он, заметьте... – Павел Андреич опять щелкнул ногтем по фотографии. – А сам по своей, так сказать, конституции совсем не силен...

- Подождите! – не выдержала она. – Ответьте хотя бы: он жив?

- Да, жив, – отозвался Терентьев. – Но жизнь его на волоске.

- Почему?

- Об этом и весь разговор! Ведь вы же хотите продлить его годы? Ведь вон как с букетиком давеча мерзли...

- Откуда вы знаете? Вы меня видели?

- А как же еще доказать, – не отвечая на ее вопрос, продолжал он, – свою роковую любовь? Вот так, как вы сделали, Дина Ивановна. С букетиком роз три часа на морозе!

- Если вы не собираетесь отпускать меня, – осмелела она, коньяк все же действовал, – тогда задавайте вопросы...

– Куда торопиться? – Терентьев нахмурился. – Не вы здесь решаете. Я здесь решаю. Использовал ли гражданин Барченко какие-то порошки или пилюли, когда добивался вашего подчинения?

Она вздрогнула всем телом.

– Нет, он ничего...

– Напитки какие-то пили?

– Пила. Молоко.

– Ах, вот как! Прекрасно! Шутить пожелали? Но вы мне скажите: чувствовали ли вы постороннее влияние на свою волю во время физической близости с Барченко? Не были ли вы под гипнозом?

– Дайте мне, пожалуйста, еще глоток, – дрожа всем телом, попросила Дина. – Я не могу отвечать на такие вопросы... пока я с ума не сошла... Или не опьянела...

– Да пейте, пожалуйста, – отозвался он. – Еще принесут.

Она выпила. Дрожь ее утихла.

– Мне нужны все подробности вашей связи с гражданином Барченко. Это раз. – Он загнул большой палец правой руки. – Мне нужно знать, какие именно приемы, упражнения или что-то еще он использовал для того, чтобы привести вас в состояние подчинения. Это два. – Он загнул указательный палец. – Мне нужно знать, что он рассказывал вам о целях своей будущей экспедиции. Это три. Ну, и последний общий вопрос: насколько гражданин Барченко был лоялен по отношению к Советской власти?

– Не стану я вам ничего говорить! – засверкав глазами, выдохнула она.

– Тогда вам как. Вы не догадались разве, что не выйдете из этой комнаты, пока документ не подпишете?

– Какой документ?

– Такой... – повторил он со скукой, но глаза его заблестели, и жизнь заиграла в них так же, как рыба играет в морской глубине. – Берете и пишете: я, Дина Ивановна Форгерер, обязуюсь помогать органам Советской власти во всем, что касается разоблачения и обезвреживания подрывной и враждебной деятельности контрреволюционно настроенных элементов...

– Я ничего такого не напишу, – прошептала она белыми губами. – Вы меня не заставите...

– Ах, вы не подпишете? – И он с той же брезгливостью посмотрел на нее. – Но неужели вы сами не догадались, милая моя Дина Ивановна, что ваша встреча с товарищем Барченко целиком зависит сейчас от вашего поведения? Не он не приехал, моя дорогая, а я не позволил вам встретиться...

– Скажите: вы – кто? – с наивным страхом перебила она и даже приоткрыла рот в ожидании ответа.

– Терентьев я, Павел Андреич. Учитель гимназии в прошлом... Ну, к делу давайте, а то уже поздно. Я буду сидеть в этом кресле, молчать. А вы шаг за шагом повторите всё, что происходило между вами и товарищем Барченко с того момента, как вы пересекли порог его квартиры. Что он говорил, как встречал? Когда вы ложились в кровать? Шаг за шагом. Хотите хлебнуть?

Он быстро наполнил рюмку.

– Подите вы к черту! – с яростью произнесла Дина Ивановна, поднимаясь с кресла. – Я лучше умру. Вы меня не заставите!

Павел Андреич тоже поднялся.

– Заставим, заставим!

– Нет. Лучше умру, – повторила Дина Ивановна Форгерер и широко шагнула к двери, как будто она свободна и собирается покинуть комнату.

– Ваш Барченко, кстати, в Москве, – спокойно произнес Терентьев ей в затылок.

Она застыла на месте.

– Вы сейчас подпишете бумагу о том, что обязуетесь не разглашать содержание нашей с вами беседы, – продолжал он. – Кроме того, вы соглашаетесь на то, чтобы доводить до сведения наших органов все подозрительные слухи, разговоры, высказывания, планы и прочее, которые остановят ваше бдительное внимание. Наши сотрудники будут сообщать вам о том, где и когда вы будете обязаны отчитываться в своей работе. А за это... – И он сделал паузу.

– За это...? – не оборачиваясь, повторила она.

– За это вы получите возможность увидеть дорогого вам товарища Барченко, который находится не только под нашим неусыпным наблюдением, но так же, как и вы, является нашим рьяным помощником. И я вам даю слово, что вашей горячей любви ничего не грозит. Ну, скажем, в ближайшее время. Решайте быстрее.

Она молча покачала головой.

– Да, чуть не забыл! У вас ведь племянник, хорошенький мальчик... Мне тут Мясоедов сказал: просто ангел! Так вот вы его пожалейте, голубка. Сестра у вас – барышня хрупкая, слабая...

– При чем здесь племянник? – Она повернулась к нему, красная, как будто ее обварили.

– Да как же при чем? – задумчиво ответил он. – Ведь дети-то вон пропадают... И в городе как беспокойно... Решайте.

Через час после этого разговора Дина Ивановна Форгерер соскочила с извозчика на углу своего Воздвиженского переулочка. Гувернантка Алиса Юльевна шла ей навстречу, ведя за руку закутанного в платки Илюшу, которого полагалось прогуливать утром в любую погоду.

– И тогда русалочка ответила прекрасному принцу, – мерным и спокойным голосом, как будто вокруг не лилось столько крови и не было войн, революций и смерти, рассказывала Алиса Юльевна. – «Я сделаю все, что вы скажете, принц мой...» – Она увидела Дину и остановилась, не выпуская Илюшиной руки. – А мы и не ждали так рано! – воскликнула она со своим твердым немецким акцентом.

Илюша весь просиял сквозь платки.

– Где Тата? – Дина старалась не дышать на вплотную подошедшую к ней Алису Юльевну. – Проснулась?

Алиса Юльевна смотрела успокаивающими глазами.

– Проснулась и снова заснула. Ей всё нездоровится. Верно, простыла. Пойди к ней, и вместе хоть чаю попейте.

– Вы будете долго гулять? – избегая этих глаз, пробормотала Дина.

– Недолго! Недолго! – защебетал четырехлетний Илюша, с размаху уткнувшись лицом в шубу Дины. – Я к маме хочу! И с тобой!

Дина почувствовала такой страх, которого не чувствовала никогда прежде. «Царица Небесная, пошли мне смерть!» – подумала она, обхватывая Илюшу обеими руками и прижимая его к себе.

– А мы идем в сквер, – спокойно сказала Алиса Юльевна.

– Гуляйте у дома, – дрожащим голосом попросила Дина. – Зачем вам ходить далеко? Слишком холодно...

Таня не спала и, узнав быстрые, но неуверенные шаги сестры по деревянной лестнице, вышла в прихожую и ждала ее.

– Вернулась? А что ты так долго?

– Я очень устала, – резко сказала Дина. – Вода у нас есть?

И пошла к себе, не снимая ни шубы, ни теплых ботинок.

- Постой! Ты куда? Он приехал?

Дина остановилась на пороге.

- Нет.

- Как нет? Почему?

Нужно было накричать на сестру, чтобы она не смела никогда ни о чем спрашивать, но Танины глаза, умоляющие и словно бы виноватые в чем-то, всегда приводили к одному и тому же: она прижалась лбом к Таниному плечу и разрыдалась.

- Ты водку пила? - со страхом спросила Таня. - А где ты была?

...Она вжималась в Танино плечо, а перед глазами крутилось одно и то же: Терентьев вынимает из кармана бумагу, на которой напечатано, что она, Форгерер Дина Ивановна, 1900 года рождения, обязуется доводить до сведения органов власти все вызывающие у нее подозрение разговоры и настроения граждан, с которыми она вступает в контакт, включая членов семьи и родственников, а также обязуется уделить особое внимание и проявить особую бдительность по отношению к разговорам и настроениям Барченко Алексея Валерьяновича. Настоящий документ является строго секретным, разглашению не подлежит, и любое нарушение со стороны подписавшей карается по законам военного времени. Потом он протягивает ей карандаш, и она подписывает.

Ни Таня, ни отчим, ни Алиса никогда об этом не узнают. Она подписала потому, что Терентьев припугнул ее Илюшей. Илюшей! Они сейчас в сквере с Алисой. Она оторвала лицо от Таниного плеча: в окне проплывало прозрачное облако, и на тонкой белизне его таяли голубоватые пятна, похожие на следы детских валенок.

Балерина и актриса, которой, если верить русским газетам, выходящим в Берлине, на свете нет равных и больше не будет, Вера Алексеевна Каралли уже

второй месяц не выходила из дому. За это время в газетах появилось несколько некрологов, где лучшую исполнительницу партии умирающего лебедя, захлебываясь, проводили в лучший мир.

В субботу вечером Вера Алексеевна, просматривая последний из этих некрологов, сказала лежащему тут же, на диване, Николаю Михайловичу Форгереру, только недавно вернувшемуся с очередных съемок новой фильма, уставшему и обессиленному:

– Какие подлецы! На что угодно готовы пойти, лишь бы продать мерзкие свои газетенки. И ведь отлично знают, что я жива! И знают, что просто была инфлюэнца... А вот утерпеть и не сделать сенсации просто не могут! Надо нам с вами, дорогой друг, перебраться в Америку, подальше от всей этой дряни. Поедьте, Коля, в Америку?

Николай Михайлович приоткрыл глаза:

– Нет, Верочка, я не поеду.

Вера Каралли немного побледнела. Отношения с Николаем Михайловичем с самого начала были несколько утомительными в силу их неопределенности и явного отсутствия его любви. Ей, может быть, и не нужна была мужская любовь после всего, что Вера Алексеевна узнала про мужчин, но странно мешало то, что Николай Михайлович, всегда нежно заботливый по отношению к ней и лучше всякой горничной помогавший во время бесчисленных ее болезней, щедрый и ненавязчивый, – этот Николай Михайлович несколько не скрывал того, что не любит ее, царицу балета, звезду и богиню, а просто проводит с ней время, но любит при этом – отчаянно, горько – кудрявую и большеглазую дурочку, бросившую его в Италии, свою законную жену, маленькую актриску одного из сумасшедших большевистских театров, и ждет только удобного момента умчаться обратно, в Россию. Россия же теперь виделась Вере Алексеевне в образе лебедя, огромного, угольно-черного, в пачке, без всяких сомнений почти что умершего.

Гордость Веры Алексеевны была уязвлена, но при этом какое-то фантастичное, трудно объяснимое чувство охватывало ее все чаще; она переживала ни разу в жизни не испытанное ею наслаждение от борьбы с женщиной, которую никогда не видела и знала только по фотографическим портретам. Если бы ей сказали,

что она победила эту женщину, и в душе Николая Михайловича Форгерера наконец-то погасла любовь к ней, и стал он таким же, как все остальные, а именно: ищущим плотской забавы, красивым и сильным самцом, – то она бы смирилась. Она знала многих мужчин, они были похожи. Но все время чувствовать рядом с собою, у самого сердца, чужую тоску по какой-то вертушке! К тому же его так безжалостно бросившей... Нет, дудки! Николая Михайловича нужно было лечить, как лечат больных от болезней, и этот их дивный, их пылкий роман, известный и здесь, и в Париже, и в Праге, роман, которому люто завидовали все и опускали глаза, когда эти двое, статные, сильные, в прекрасной одежде, под руку входили то в ложу театра, а то в ресторан, – этот роман не должен был закончиться его бегством обратно, в страну, которая, как писали берлинские газеты, вернулась в «доисторическую эпоху»!

Разумеется, она не обсуждала с Николаем Михайловичем своих этих чувств. Она не просила и не упрекала, но когда ей пару раз показалось, что Николай Михайлович взглянул на нее тем самым потеряннным взглядом, который она ловила на его лице, чуть только речь заходила о жене, или внезапно притронулся к запястью Веры Алексеевны теми же дрожаще-сухими губами, какими, должно быть, касался ее, – звезда мирового кино и балета почти ликовала победу. А зря ликовала: он опоминался, и все шло как прежде. Театр, прогулки, постель, рестораны – и вежливый холод, когда не в постели. Последнее время ей стало казаться, что если увезти упрямого Форгерера в Америку, вода океана, как сонная Лета, отрежет его от жены. И навеки. Но он отказался.

– Вы наверняка не хотите уезжать из Европы, Николай Михайлович? – дрогнувшим голосом спросила балерина и даже немного закашлялась.

Она закашлялась нарочно, хотя и не отдавая себе отчета в притворстве, закашлялась для того, чтобы напомнить Форгереру, как чуть было не умерла от инфлюэнцы, и умерла бы, если бы не его забота; напомнить, что весь этот месяц тяжелого жара, бессонницы, боли так сблизил их, что расставаться – нелепость; но взглянула на лицо Николая Михайловича, и кашель ее очень быстро затих.

На лице Николая Михайловича Форгерера установилась, как показалось Вере Алексеевне, какая-то блаженная, сродни идиотизму, уверенность, словно он перестал заботиться о жизни сам и отдался на волю ангела, который прозрачным своим, тихим взором глядит на него с высоты и вздыхает.

– Вы знаете, Коленька, мне тут давеча зоолог один рассказывал – он московский, в институт Пастера собирается, а мальчик сам милый и любит искусство, – так он мне рассказывал про лососину...

– Про что он рассказывал? Про лососину?! – искренно удивился Николай Михайлович.

– Ну, Господи, Коля! Рыба эта, лососина, вы что, никогда не ели? Так вот эта рыба, когда ей приходит пора размножаться, она не просто так размножается – она выплывает обратно из моря опять в свою реку и там поднимается вверх по течению... Вернее, плывет прямо против течения. А там ведь пороги, коряги, препятствия... И вот эти рыбки, Коленька, они бьются, разбиваются, некоторые даже в кровь, и погибают, но всё продвигаются вверх через эти пороги... Их разбивает, а они – дальше! Он сказал, что смотреть на это страшно. «Были, – говорит, – бледные такие рыбешки, голубоватые, невзрачные, а как им идти размножаться, так красными тут же становятся, бурыми... Потом умирают». Не все, правда. Многие.

Она замолчала и выжидающе посмотрела на него. Николай Михайлович привстал на диване и шутливо поклонился.

– Польщен вашим рассказом, Вера Алексеевна... Я, значит, лосось?

Вера Алексеевна грациозно опустилась на ковер у самого дивана и положила чернокурчавую, с бархатной ленточкой через выпуклый лоб, голову на руку Николая Михайловича.

– Не жар ли у вас снова, Верочка? – спросил он внимательно.

– Нет, Коля, не жар. – Она подняла лицо с блистающими черными глазами, о которых те же самые русские газеты писали, что многие отдали бы жизнь за один этот взгляд, а если уж сравнивать Веру Каралли с известной египетской Клеопатрой, так вот, Клеопатра бы и проиграла. – Нет, Коля, не жар, а печаль. Ужасная печаль, Коленька! И не за себя – я нигде не пропаду, – а за вас. Вы, Коля, всплывете наверх по теченью, а после погибнете. Но главное, Коля, вы ей не нужны. Она вас не хочет, мой милый, не любит...

– Вера Алексеевна, – грустно ответил ей Форгерер, – скольких женщин я знал под собою...

Вера Алексеевна слегка усмехнулась на этот дерзкий оборот речи.

– Да, радость моя... Вас включая, уж не обижайтесь. Но эта жена моя... Она не на счастье мне послана, вот что. Люблю я ее? Ну, пожалуй. Желаю? Да, очень, но это не просто желанье. Смотрю: вот она разувается, скажем... Сидит на ступеньках, а вечер был жарким, и ножки вспотели... Вот она стягивает башмаки со своих этих ног, а пальчики слиплись, опухли немножко, и я наблюдаю за ней, и мне страшно. Помру и не пикну за эти вот ноги... За каждый их пальчик. Да, это безумье. А что про отъезд... Так это не я ведь решил.

Вера Алексеевна со страхом посмотрела на него.

– Конечно, погибну. Иду напролом, вот и всё. Как лосось.

– При чем тут лосось? – бледнея, как будто ее вдруг густо напудрили, спросила Вера Алексеевна.

– Просыпаюсь по ночам, – продолжал Николай Михайлович, – холодом меня обдает. Страшно. Душа просто в пятки уходит. А дикий при этом восторг. Скорее бы только! А там уж как будет. Нет, я ничего не решал. Мной решили.

Пошли слухи, что в Москве поселился юродивый, который имеет страсть поджигать, поэтому в городе участились пожары. Времена наступили советские: юродивых, а с ними вместе и не юродивых всех приструнили – кого разогнали, кого расстреляли, кто сам убежал. И поэтому, когда товарищу Блюмкину доложили, что за одну неделю случилось три пожара в бывшей Анненгофской слободе и виновник этому безобразию юродивый Ваня Плясун, товарищ Блюмкин приказал привезти к себе немедленно Ваню Плясуна, хотя дел было много в последнее время – так много, что шла голова даже кругом.

Причина же особого интереса товарища Блюмкина ко всей этой нечисти была еще и в том, что сам он находился под сильным влиянием отъехавшего в экспедицию товарища Барченко, ученого самого что ни на есть новейшего

психологического направления, с помощью открытий которого можно будет целиком взять на себя управление человечеством. Тут, кстати, тоже было не все так просто. Это со стороны могло показаться, что в сером доме на Лубянке, где горит по ночам электричество, все товарищи живут одной дружной большой семьей, искореняя врагов революции с целью быстрее обеспечить трудящимся рай на земле; едят сухой хлеб, пьют холодную воду. Неправда, неправда и снова – неправда. Сам товарищ Блюмкин, собиравший живопись, антиквариат, драгоценные камни, старинную мебель, меха и посуду, и то поражен был недавно случившимся. История мелкая, но характерная: один незначительный чин (как водится, из латышей) повадился воровать из столовой ВЧК золотые вилки. Товарищи думали, что они были всего-навсего позолоченными, большого внимания не обращали. Кому нужна дрянь и подделки? А вышло-то как? Золотая посуда! Другое дело, почему эта посуда попала в столовую? А всё потому же: бардак, произвол. О чем говорить? Мерзавца – в подвал и в расход, разумеется.

Сверху, как кипятки на голову, сливали одно: расстрелять. Без пощады. Он сам любил кровь и стрелял очень метко. Когда вот была заварушка в Тамбове, стрелять пришлось столько – рука уставала. А как их иначе учить, допотопных? Стоит, скажем, баба, не воет, не плачет. Как окаменела. Глядит прямо в дуло. Грудной на руках, остальные под юбкой. А нужно попасть, чтобы сразу, не мучить. И он попадал. Помирали без визгу.

Окунувшись здесь, в столице, в партийную работу, Блюмкин заметил, что вокруг одни мертвые. Заглянешь им в лица – сплошной кокаин. Он сам ходил в кожаной куртке, сам ездил ночами обыскивать и арестовывать, но сердце у него вдруг начинало колотиться: хотелось чего-то красивого! Стихов, например. Или драмы в театре. И женщин в вуалях, духах и туманах. А тут – одна смерть, один холод кровавый. Приказ за приказом, стрельба да припадки. Ведь сколько народу с ума посходило! Посмотришь: чекист, не горит и не тонет. А утром тебе говорят: застрелился. Записку оставил: «Прощайте, мамаша!».

Чтобы спастись от тоскливых мыслей, товарищ Блюмкин вскакивал иногда из кровати, недавно конфискованной им в особняке Рябушинского, а прежде принадлежавшей самому Савве Морозову, и мчался под снегом к братьям-поэтам. Те тоже ночами не спят, куролесят. Сергунька напьется – такого городит, святых выноси! А Володя? Володя стишки ему дарит, боится. В стихах-то он громкий, а так – вроде зайца. И Блюмкин не хуже поэт, чем Володя. К тому же герой революции. То-то. Он чувствовал, что они не считают его своим, и ненавидел их за это лукавство, за то, что они хлопают его по плечу, чокаются с

ним неразбавленным спиртом, который он сам приносил им на сборища, и нюхают с ним порошок из его же ладони. Половину этих ребят давно нужно было бы пустить в расход, если бы они не были такими мастерами! Блюмкин – хороший поэт, никто с этим и не спорит, но так сочинить вот, как Мариенгоф, пока что не может. Одно радуется, что и эти прекрасные стихи Мариенгоф не Сережке посвятил, не дураку Ивневу, пьянице и подхалиму, которого Луначарский себе в секретари взял, а все же ему, Яшке Блюмкину!

Стихи-то отменные:

Кровью плюнем зазорно

Богу в юродивый взор.

Вот на красном – черным:

Массовый террор!

Блюмкину бы самому до смерти хотелось рассчитаться с этим Стариканом, который засел в небесах и за всеми следит. Как он Его в детстве боялся! Кто знает: там Он или нет? Страх человека долго не отпускает, его порошком не занюхаешь! Вот разве что кровью зальешь...

Хорошо это у Мариенгофа про кровь получилось, крупное вышло стихотворение, его никогда не забудут:

Что же, что же, прощай нам, грешным,

Спасай, как на Голгофе разбойника, —

Кровь твою, кровь бешено

Выплескиваем, как воду из ручейника!

Лубянку бы тоже хотелось почистить. Романка Пилляр, например. Какой он Пилляр? Барон Ромуальдес Пилляр фон Пильхау! Товарищ Дзержинский сказал, что Пилляр происходит из обедневшего и захудалого дворянского рода. Вранье! Блюмкин не поленился, выяснил, из какого он рода. Богач и вельможа, и замок фамильный. Его расстрелять или, к черту, повесить! А мы доверяем. А как же? Матушка барона Ромуальдеса, Софья Игнатьевна баронесса фон Пильхау, была

при дворе императора фрейлиной, но матушку тоже не тронут: родная по матери тетка Дзержинского. В Германии полгода назад объявился еще один родственник: двоюродный брат фон Пильхау. Сказал, что он начальник «Русского объединенного народного движения». Набрал себе целый отряд идиотов и всех нарядил, как на дачном спектакле: белые рубашки, на рубашках алые нарукавники, на каждом – белая свастика в синем квадрате. Себя величает: Иван Светозаров. И эти, в рубашках, с проборами в масле, ему козыряют: «товарищ Дер Фюрер!». Der Fuehrer! Пришлось – на паром и обратно в Россию. А тут церемониться долго не стали.

На некоторых своих соратников комиссар Блюмкин не мог смотреть без хохота. Кого, например, взяли Политбюро охранять? Начальник-то кто над охраной? Как кто? Парикмахер! Рудольф Вильгельм Паукер. Из Будапешта. А Венька Герсон, секретарь у Железного? Бухгалтером в Риге сидел, серой мышкой.

Все время хотелось сбежать. Он сбегаёл: то в Персию, то в Бухару, то на Север. Самое, однако, прекрасное случилось полгода назад летом. Кто знал город Решт до недавнего времени? Никто его толком не знал. Глухой городишко, седые потоки и горы вокруг. И тут-то, на самом отшибе Ирана, вдруг как повезло! Провозгласили большевики в городе Реште Гилянскую советскую республику. Революционное правительство тут же объединилось вокруг одного очень крепкого хана, поджарого, словно олень, но с изъяном: везде за собою таскал свой гарем. Война, революция, дела по горло, а тут эти бабы! Сидят, вышивают. За них-то, за баб своих, и поплатился: правительство свергли, а хана убили. Приходит приказ из Москвы: поставить на место казненного хана другого, живого. И строить Советы. Откуда-то сразу возникла компартия, и Блюмкин в ней стал коммунистом. Не шутка. Что тут началось! Оборона Энзели (еще городишко один, неказистый), потом Первый съезд угнетенных народов. Собрались в Баку, поорали, поели. И все разошлись кто куда. Он думал: опять в Бухару – ан не вышло! В Москве вас заждались, товарищ Дзержинский немедленно требует, вот телеграмма.

Блюмкин был нужен действительно срочно. Тысячи белых офицеров, уцелевших после разгрома генерала Врангеля силами победоносной Красной Армии, «прошли регистрацию», то есть живыми сдались в красный плен. Поехали их регистрировать трое: товарищ Землячка, товарищ Бела Кун и товарищ Блюмкин. Но Блюмкин решил поскорее удрать: при той быстроте, с которой Розалия черное море превращала в красное, ему почти нечего было и делать. Прекрасно там Бела с Розалией справились. Товарищ Троцкий сказал, что Крым – это

бутылка, из которой ни один контрреволюционер не выскочит. Никто и не выскочил. Демон (партийная кличка Розалии) придумал простую уловку: всем бывшим военнослужащим царской армии прийти по указанному адресу и сообщить свою фамилию, звание и адрес. За уклонение – расстрел. Конечно, пришли, сообщили. Тут же начали брать людей прямо по адресам. К солдатам и офицерам прибавились сразу и сотни, и тысячи. Работы было столько, что Роза с ее изворотливым быстрым умом придумала всем им, троим, облегчение: топить эту контру, не тратить патронов. Воды в море хватит. По камню на брата – и быстро на баржу! Потом сквозь морскую соленую воду, когда ее солнце насквозь прожигало, виднелись рядами стоящие трупы. Враждебная, но безопасная армия.

Блюмкин, кстати, и не уехал бы так поспешно из Севастополя, если бы не Розино на него нападение. Тут уж он ничего не мог с собой поделаться. Одно дело – борьба за дело революции, а другое дело – любовь; и поэтому, когда пропотевшая от утомительного, полного событий дня, растрепанная, с ее уже седеющими мелкими кудряшками, Розалия однажды ночью просто-напросто влетела к нему в комнату, как ведьма на помеле, и тут же стала срывать с него, спящего, одеяло, впиваться губами в живот и подмышки, товарищ Блюмкин быстро ее успокоил и с некоторым даже гневом выпроводил из своей комнаты. Наутро Роза собственноручно расстреляла из пулемета наполненную контрреволюцией баржу, не ела весь день, а вечером, накручивая на желтый от махорки палец свою поседевшую прядь, сказала, что тут они с Белой управятся сами и Блюмкин им больше не нужен.

Он любил женщин как поэт, любил не хуже Володи, и красота в женщине привлекала его неудержимо: он мог и рискнуть, мог сделать любой безрассудный поступок. Уродливая женщина или просто, скажем, невзрачная отталкивала сразу: никакой порошок не помогал. И когда товарищи по партии уверяли его, что любая сойдет, лишь бы было за что ухватить да задвинуть поглубже, он только брезгливо кривился.

Вчера товарищ Терентьев, на которого Блюмкин давно, кстати сказать, собирал материал, но поскольку Терентьев принадлежал к масонскому ордену и был там своим человеком, его приходилось терпеть, – вчера этот жирный и скользкий Терентьев принес фотографии женщины Барченко. Она стояла на перроне в ожидании мурманского поезда. День был морозным, и низкое солнце, случайно попавшее в объектив, казалось дрожащим от холода прямо на снимке. А женщина, которую Терентьев сумел ухватить только в профиль, была такой

тонкой и юной, что Блюмкин покрылся испариной: он тут же представил себе ее тело. При этом и вспомнил, как выглядит Барченко: большой, под глазами мешки. Да кто же поверит, что эта вот киска, прижавшая розы к губам, в черной шубке, с огромным клубком очень светлых волос, так сохнет по старому Барченко? Дудки!

Ведь он ее заколдовал! Терентьев собрал все бумаги, касающиеся Дины Ивановны Форгерер, в девичестве Зандер. Актриса в театре, замужем за белым эмигрантом и тоже актером Николаем Михайловичем Форгерером, в настоящее время находящимся в Берлине. Несколько писем от Форгерера к жене удалось перехватить. Обычные сопли. «Люблю, умираю! Позволь мне приехать...»

Езжай, а уж мы тебя, козлика, встретим. Товарищ Блюмкин мысленно усмехнулся в лицо подлецу-эмигранту. Такая красавица не про тебя. Он близко поднес к своим близоруким глазам фотографию, где Дина Ивановна Форгерер была снята в тот момент, когда она бросила розы прямо на перрон и обернулась к Шаляпину. И мука такая на этой мордашке, и губки закушены... Ах, моя пери! Сейчас вот Терентьев придет и расскажет. То, что она подписала бумажку, ни о чем не говорит: многие подписывают, а потом исчезают. А другим никакой и бумажки не нужно: и так, без бумажки, расскажут. Особенно бабы. Женщины, как справедливо считал товарищ Блюмкин, с юности питавший страсть к эзотерическим наукам и лично одолевший таинства каббалы, по природе своей чистейшие ведьмы, в них много змеино-нечеловечьего. Им только залезть бы повыше. И лезут! По мужьим хребтам, по беспомощным шеям. Опутает телом, вопьется всем жалом – и лезет, и лезет со свистом и шипом. Вон Ларочка Рейснер, огонь-комиссарша, вон Лиличка Брик. Эти не за колечки безумствуют, не за собольи палантины. Им надобно власти; они, как в сказке «Золотой петушок», всех перестреляют и всех перессорят, а сами наверх! Только зубы скрипят. Не зря же Володька повеситься хочет.

С Барченко у товарища Блюмкина были свои отношения. По правде сказать, не было бы уже никакого Барченко, давно бы истлели в земле его кости, если бы не защита товарища Блюмкина. У Барченко были ученики – пытались пробиться в слои ноосферы, – и сам он царил среди них, как павлин. Конечно, донос. Тут Блюмкин его и отбил. А было непросто: у нас не посмотрят, что ты оккультист. Китайцы всем кожу в подвале снимают. Им что оккультист, что профессор, не важно. Но Барченко трогать нельзя. Блюмкин хотел с помощью Барченко всему этому научиться. От слова «магия» у него самого волосы на голове шевелились. Несколько раз он присутствовал при опытах: Барченко передавал мысли на

расстоянии, потом усыплял своим взглядом, потом приводил в состояние страха. И всё – только взглядом! Блюмкин после этих опытов неделю спать не мог. И никакой экспедиции не было бы, если бы не его вмешательство. Железный не очень-то верил в затею, ему лишь бы крови напиться да кашлять. Товарищ Блюмкин все поставил на карту, даже собственную карьеру. И добился: экспедиция состоялась. Он и сам хотел поехать, но ему запретили, отправили в Германию секретным агентом. Опять подымать революцию, учить глупых немцев взрывать да шпионить. А ведь благодаря этому лохматому, с мешками под глазами, Барченко новый мир начал разворачиваться перед товарищем Блюмкиным!

Поначалу он погорячился: припугнул колдуна, дал ему понять, что только полной откровенностью с ним, то есть с Блюмкиным, есть шанс задержаться на этом свете. Нельзя сказать, чтобы оккультист так уж сильно испугался. Похоже, что он и сам присматривался к Блюмкину, даже не скрывал этого. Хотел и его приручить. Два года назад взял его с собой на празднование Рождества в масонском «Ордене духа». Жизнь товарища Блюмкина была столь кипуча и разнообразна, что все в ней смешалось, как карты в колоде, но этот поход он запомнил в деталях. Пошли в Первый Ржевский. Снежок. Какое, к чертям, Рождество? Не до праздников! Однако Москва – такой город: ее хоть ты в землю зарой, так из-под земли будут петь, из могилы! За столом, накрытым белой скатертью, стояла чаша с вином. Еды сначала не было никакой. Рядом с чашей лежало Евангелие, заложенное голубой шелковой лентой. Барченко хмурился, а у Блюмкина живот сводило от любопытства. Кроме них, за столом сидели три женщины и четверо мужчин. Все сосредоточенные, с опущенными глазами. Один из мужчин, черноглазый, с сухим орлиным профилем и белыми от голода губами, спросил у всех присутствующих, существует ли на этом свете совершенная красота. Начали отвечать по кругу. Ответили все, кроме Барченко с Блюмкиным. Потом одна из женщин, не подымая глаз, удалилась и минут через десять принесла угощение. Блюмкин запомнил только пирог с вареньем из яблок. Его ели долго и пили вино. Особенно есть было нечего. На стене висели изображения разноцветных рыб, а в руках председателя с сухим профилем и белыми губами мелькала все время какая-то веточка. Потом поднялись, опустили глаза и начали петь. Пели гимны Архангелу Михаилу и кланялись низко рыбешкам на стенах.

Когда возвращались обратно, Барченко сказал, что все это – чушь, ерунда. Самозванцы.

– А что тогда не ерунда? – спросил Блюмкин.

Ах, какое лицо было у этого человека, когда он остановился, задрал к небу голову – а там, в вышине, сколько звезд, сколько тайн! – и, полузакрыв свои глаза, сказал, что не ерунда только поиск Гипербореи. И знание смерти. Блюмкин и сам это чувствовал. Именно так: знание смерти. Что там? Кто нас ждет? А если – никто? Каббала, конечно, многое толковала, но времени не было на каббалу. А Барченко – рядом, живой. И он – знает.

Месяц назад чахоточный дьявол Дзержинский приказал завершить поиски Гипербореи и вернуться в Москву. У большевиков, мол, нет лишних денег на подобные экспедиции. Блюмкин знал, что деньги есть. Денег у них было немерено-несчитано, успели наэкспроприировать. Но спорить не стал, слишком было опасно. Барченко вернули, но из поезда не выпустили. Нужно было подстраховаться, понять, с чем он едет в Москву. Терентьев сообщил, что у Барченко есть только одна слабинка: актрисочка Форгерер, Дина Иванна. Вернулась в Москву из Берлина. Живет в одном доме с сестрой, отчимом и племянником. Сестра – любовница доктора Веденяпина, психиатра из бывшей Алексеевской клиники, в которую пришлось однажды, прямо из «Кафе поэтов», доставить Сережку Есенина в белой горячке. А сын Веденяпина, белогвардеец, сидел на Лубянке, и Барченко этого парня затребовал. Сказал: уникальные данные, парапсихолог. Короче: клубок. Хорошо бы распутать. Сейчас Барченко перевезли в Москву, а парень этого доктора, Веденяпина, остался в Мурманске. За ним Мясоедов присмотрит.

Терентьев даже и не постучался. Скребнул ногтем дверь и вошел. Блюмкин прикрыл фотографии Дины Ивановны вторым толстым томом товарища Маркса.

– Садитесь, Терентьев.

Терентьев тяжело развалился, сел по-барски. Знает, что сам на крючке, а поведение наглое.

– Что скажете? – И спичкой ковырнул в зубах. – Вы время-то не тяните, Терентьев.

– Вы должны, товарищ Блюмкин, лично посмотреть на эту женщину. Характер весьма любопытный.

– Роботать согласна? – быстро спросил Блюмкин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/murav-eva_irina/my-prostimsya-na-mostu

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)